

ДУНЬКИНО СЧАСТЬЕ

-- У меня, мил-моя, такая пролетарская происхождения -- даже самой удивительно -- какая я чистокровная пролетарка. Уж такая пролетарка, такая пролетарка, -- ни одной подозрительной кровиночки во всём нашем роду не сыщешь. Что по матери, что по отцу. Все сызмальства крестьянством на подбор занимались, а тесть даже и скончался в пастухах. Скажет ему, бывало, Захар Кузьмич -- был у нас на селе лет тридцать назад лавочник, кулак страшный: "Торговал бы ты хоть дёгтем что ли, -- скажет, -- что за жизнь: коровам хвосты крутить". А тесть мой в ответ: "Дык ведь как сказать, Захар Кузьмич, как они коровки-то обернутся, ты её дёрнешь за хвост, она и обернётся". А оно вон и вышло -- как обернулись! Удивительный сознательным старик был, и всё, бывало, нюхает табак и молчит, от него и я загадочно молчать попривыкла. Так мы все в дедов и вышли -- крепко приверженные к своему классу, да только в деревне какое же житьё! Вот начну я так-то иной раз вспоминать свою жисть с самых пелёнок, -- веришь ли, мил-моя, так защемиет сердце, захолонёт словно пойманный птенчик... По брови в снегу жили, а летом, в поле с тоски удавиться можно: никакого удержу у нас полям нету, кроме неба... А хозяйство опять же обыкновенное, -- никакое, можно сказать, хозяйство: лошадёнка -- воз больше на себе везёшь, корову только-только перед германской войной купили; да на беду не взяли в мобилизацию отца, -- многие у нас в войну бабы от детей отдохнули, ну, однако, отец остался, и почали тут одна за другой рождаться дети, и больше девчонки... Мать, бывало, только с пузом и ходит да плачется: "И на кого я вас, оглашенные, рожаю?.." Конечно, и мёрли, а всё же пятеро осталось, в одну одёжку по очереди влезали. И всех-то я их вынянчила и росла-то так до шестнадцатого году -- от одной люльки к другой, сестричек своих пестовала, и только и радости бывало, что пойдёшь в поле, а поле у нас, говорю, страшное огромное, от Зелёной Слободы кидается в овраги, и по оврагам кусты, -- нарву там цветочков, курослепа какого, иван-да-марьи, дикой черёмухи, и бреду опять в сумлении к своим люлькам. И очень было мне тяжело, когда подойдёшь к своей избе с цветочками в руках, а плетень сломан, под сараем колесо валяется, окно в избе подушкой заткнули, а на дворе, словно червяки в пыли, мои прекрасные сестрицы...

Задумаюсь, бывало, я вот так-то о человеческой своей судьбе, -- самой страшно: какие в голову мысли лезут! Очень я рано задумываться начала -- маменькина-то жизнь вот она, перед глазами... Смотрю, как она в жёлтой своей кофтёнке -- поповна ей дала за мытые полы, она в той кофтёнке всёё своё жисть проходила -- смотрю я на неё, как она картошь перебирает, или навоз с-под-коровы чистит, -- руки у неё чёрные, в узелки завязлись, лицо восковое -- враз с картины страшного суда, зуба ни одного не осталось, всем кошельком жуёт, и только один живот тяжёлый в ней и есть. Смотрю на неё и плачу: "Ох, охоньки мне, девушке, не такая ли счастье меня ждёт, судьба моя из маменькиных глаз проникает". А в девках я прекрасная хорошая была; запою, бывалача, -- парни только рты поразинут, стоят словно ошпаренные; коса моя всем девкам на зависть; и в руках замечательная проворная была: горшки ли в печи, чугуны с бельём проворочать? А в поле с серпом наперёд всех уйду, так и врежусь рекой в горячую рожь. Да только к чему ж она, красота-то на деревенском дому? На деревне красотой судьбы своей не изменишь... И стала я так задумываться да размышлять; сижу, бывалача, на завалинке, качаю Алёнку, там, или Маньку, у ног моих цыплята землю скребут, тоже жизни просят, в доме нету никого: на покос уехали, греет солнышко мою щёку в слезах, а перед глазами у меня туман, -- вредный туман, как на реке, поднимается, -- и так мне жутко станет среди бела-то дня, будто вечером я и одна в реке, в Чёртовом Яру купаюсь. Ух, ты, поле, поле большое, ох, судьба ты моя неизвестная!.. А она, судьба-то, очень известная, какая на деревне судьба! -- все на глазах у соседей прожили, всякому загодя известно, что его ждёт. Вот, думаю, выйду и я замуж, буду рожать почём зря, а сама буду длинная да страшная, и глаза у меня завалятся, как на иконе, и будут у меня в сундуке спрятаны полсапожки и шаль, и буду я их надевать на праздники, -- и так и помутнеет от той мысли в глазах, и так страшно станет, что будто не жимши я, а прожила уж, -- такая у нас на деревне, всем известная наша судьба!.. А исполнилось мне шестнадцать лет, стал тятенька туманные слова заговаривать: "Очень, говорит, ты на мене не надейся, потому много вас у меня растёт, чересчур даже много жизни вокруг меня подымается, а ты, говорит, девка уже на выданы, по только время теперь очень самостоятельное, и можешь ты сама правое добиться от жизни, а богатство твоё в твоём девичьем блюде только заключается, если, например, оно у тебя целое". Поняла я тут, что на лошадь он намекает: "Не дам, мол, тебе лошади, как замуж пойдёшь, не надейся, мол", -- и загрустила ещё больше. Только бы, думаю, вырваться куда из села, и тогда предстанет моей жизни новая деталь, и не будет у меня маменькиного заветного сундука, а она уж тот сундук опорожнила, чтоб приданое мне